Persee

Igor' B. Orlov
Aleksandr Ja. Livshin

Революция и социальная справедливость : Ожидания и реальность (« Письма во власть » 1917-1927 годов)*

In: Cahiers du monde russe : Russie, Empire russe, Union soviétique, États indépendants. Vol. 39 N°4. Octobre-décembre 1998. pp. 487-513.

Citer ce document / Cite this document :

Orlov Igor' B., Livshin Aleksandr Ja. Революция и социальная справедливость : Ожидания и реальность (« Письма во власть » 1917-1927 годов)*. In: Cahiers du monde russe : Russie, Empire russe, Union soviétique, États indépendants. Vol. 39 N°4. Octobre-décembre 1998. pp. 487-513.

doi : 10.3406/cmr.1998.2537

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/cmr_1252-6576_1998_num_39_4_2537

Abstract
Aleksandr Ia. Livshin, Igor' B. Orlov, Revolution and social justice: expectations and reality ("Letters to the authorities" 1917-1927). The phrase "letters to the authorities" refers to the various forms of appeal to the powers that be by the people during the post-revolutionary period (letters, complaints, petitions, denunciations). These letters constitute an important source for the study of social history and for the history of how people think. They were a means of dialogue between society and the authorities, an important means of communication within the "state — people" relationship during the Soviet period. The extent to which so basic a concept as that of justice is represented in people's minds is indicative of the changes that took place within popular consciousness during the first post-revolutionary decade. The perception of justice in various social groups was globally unstable, contradictory, and fluctuating. This reflected the deep social, political and cultural changes of the time.

Résumé
Aleksandr Ja. Livšin, Igor' B. Orlov, Révolution et justice sociale : espérances et réalité (Les « lettres aux dirigeants », 1917-1 927). Les « lettres aux dirigeants » — terme qui désigne différentes formes d'adresse aux autorités de la part des citoyens pendant la période postrévolutionnaire (lettres, doléances, requêtes, dénonciations) — sont des documents importants pour l'étude de l'histoire sociale et de l'histoire des mentalités. Elles ont constitué un mode de gestion du dialogue entre la société et l'État, un moyen essentiel de communication à l'intérieur du rapport « dirigeants — population », ainsi qu'une forme spécifique de rapports de pouvoirs pendant la période soviétique. La façon dont un concept aussi fondamental que celui de la justice se reflète dans les mentalités montre les changements qui étaient survenus dans la conscience collective pendant la première décennie qui suivit la révolution. Dans son ensemble, la perception de la justice par les différents groupes sociaux était instable, contradictoire et changeante, reflétant ainsi le processus des profondes transformations sociales, politiques et culturelles de l'époque.

creative commons

АЛЕКСАНДР Я. ЛИВШИН *и* ИГОРЬ Б. ОРЛОВ

РЕВОЛЮЦИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ: ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ
(«Письма во власть» 1917-1927 годов)*

Persée BY: creative commons

Внимание российской исторической науки в последние годы приковано к «нестандартным», ранее практически игнорировавшимся проблемам, что, в свою очередь, требует введения в научный оборот нетрадиционных для российских ученых источников. К числу последних вполне могут быть отнесены сохранившиеся в российских архивах в значительных количествах письма рядовых граждан в органы власти и на имя отдельных политических деятелей. Только в *Крестьянскую газету* с ноября 1923 г. к началу 1926 г. по подсчетам Т. В. Мироновой поступило более 1 млн. писем[1]. Авторами статьи подготовлен к печати сборник документов *Письма во власть* (1917 – 1927 гг.), являющийся третьим томом серии *Документы Советской истории,* издаваемой совместно Институтом государственного управления и социальных исследований МГУ им. М. В. Ломоносова, Istituto italiano per gli studi filosofici, École des hautes études en sciences sociales, Maison des sciences de l'homme[2].

«Письма во власть» как массовый источник

Условным термином «письма во власть» можно объединить различные формы апелляции граждан к государству: письма, заявления, жалобы, предложения, доносы и т.д. Для массовых источников вообще (и для писем в частности) характерно, что структура заключенной в них многослойной информации на уровне отдельно взятого документа «неосязаема». Доступной она становится лишь на уровне всей совокупности. Чем больше становится совокупность, тем быстрее прирастает объем информации, присущий только ей и принципиально неделимой на число составляющих ее документов.

Cahiers du Monde russe, 39(4), octobre-décembre 1998, pp. 487-514.

Одной из важнейших проблем работы с массовым источником является проблема типологизации. От того, как удается классифицировать «письма трудящихся», зависит и эффективность их анализа, и в целом действенность использования данных источников для более полного понимания времени, которому они принадлежат. Представляется, что подобная типологизация может быть только «многослойной» и вряд ли возможно выделить наиболее значимый критерий, на основе которого письма могут быть разбиты на «виды» и «подвиды». Отсутствие универсальных подходов, пригодных для всего многообразия такого массового источника как письма, в свою очередь, ставит вопрос об «интересности» и «типичности». Подавляющее большинство «писем снизу» написано людьми необразованными и малограмотными, людьми с достаточно узким политическим кругозором. Как в силу этих обстоятельств, так и ввиду жанрового своеобразия большинства писем «во власть», исследователь встречается с дефицитом анализа, обобщений и выводов, т.е. того, что могло бы сделать письмо более интересным и ярким. Наоборот, «типичность» — это часто путаное изложение не всегда интересных фактов и обстоятельств. Следовательно, связать все воедино, обобщить и увидеть картину эпохи в разрозненных фрагментах — задача самого исследователя. Думается, что именно определенный баланс между «типичностью» и «интересностью» способен обеспечить репрезентативность, т.е. качественную представительность источников.

Подобные документы, относящиеся к послеоктябрьскому периоду, могут составить источниковую базу для изучения по крайней мере двух фундаментальных проблем : 1) динамики изменения общественного сознания в послереволюционные годы и 2) особенностей общения власти и общества посредством писем «с мест» (имея в виду письма как элемент политических и управленческих отношений).

Что касается первой проблемы, то письма являются своего рода зеркалом менталитета общества. Это, конечно, не означает, что речь идет об абсолютно адекватном и полном отражении состояния общественного сознания в письмах. Действительно, любой исторический документ (или массив документов) не может зеркально отражать социальную и национальную психологию. Скорее, речь может идти о методах анализа источников (в данном случае, писем «во власть»), в наибольшей степени приближающих исследователя к пониманию особенностей менталитета и динамики его изменения. Анализируя различные формы апелляции граждан к государству с этих позиций, следует обратить внимание на ряд важнейших проблем, наиболее полно отражающих характеристики общественного сознания в те годы: а) отношение к власти — как центральной, так и на местах; б) отношение к наследию революции, оценка событий 1917 года и последующего времени; в) внутренняя структура и иерархия ценностей, приоритеты, формировавшиеся в недрах общественного сознания; г) наиболее характерные дискурсивные стратегии, речевые особенности самовыражения авторов писем.

Говоря о письмах и иных формах апелляции к власти как своеобразной форме взаимосвязи общества и государства, следует видеть в письмах и реакции на них со стороны властного аппарата некую специфическую

форму политических отношений в советский период. В условиях отсутствия присущих демократическому обществу форм общения и взаимодействия государства и населения через все многообразие политических и гражданских институтов, апелляция к власть придержащим при помощи заявлений, петиций, жалоб, доносов и т.д. являлась суррогатным заменителем обратной связи, общения с государством и воздействия на власть. В. П. Булдаков соотносит «слезницы и хуления, адресованные власти» в первые послереволюционные годы к традиционной российской челобитной форме. По его мнению, значительная доля обвинительных посланий вождям большевизма (анонимных и малоизобретательных по части аргументации) исходила от лиц с расстроенной и даже разрушенной психикой, и поэтому письма такого рода характеризуют не власть, а несостоявшиеся надежды и претензии к ней[3].

Конечно, «письма во власть» — это весьма опосредованная и неадекватная форма общения народа и государства. Не стоит чрезмерно переоценивать любые внегосударственные факторы формирования политического курса в советское время, равно как и роль общественного мнения. Но важно избежать и недооценки значения, хотя бы в информационном плане, писем, доносов и т.п. для выработки, реализации, и возможно, в ряде случаев, корректировки действий власти. Для Н. Н. Козловой, письмо — компонент технологии власти. Но она не рассматривает пишущих только в качестве пассивной игрушки во властных играх[4]. Государство, как ни парадоксально, нуждалось в подобных лимитированных формах общения с гражданами, так как это была наименее опасная и наиболее безболезненная и удобная для режима форма осуществления обратной связи, тем более, основанная на исторических традициях русского народа (челобитные в средневековой Руси, петиционное движение в дореволюционную эпоху). Кроме того, нельзя недооценивать роль «сигналов с мест» в осуществлении государством своих функций и действии властных механизмов в целом. Так, для реализации репрессивно-карательной функции иногда необходим был первоначальный импульс — донос. Задача контроля над местной бюрократией, необходимость держать ее в рамках общегосударственного политического курса также решалась при помощи анализа настроений низов и реакции на конкретные примеры произвола и злоупотреблений со стороны низового аппарата. Конечно, государство само решало, на какие сигналы реагировать, а какие оставить без внимания.

Таким образом, не приходится говорить о диалоге равноправных партнеров, осуществлявшемся посредством и писем и властной реакции на них в рамках социально-политического поля Советской России. Скорее, мы имеем дело с общением бесправного и униженного просителя и могущественного и снисходительного патрона. Тем не менее, проситель был не до конца бесправен, а наделен определенной политической инициативой, ибо мог рассчитывать и даже спрогнозировать желаемую реакцию на свой «сигнал» со стороны государства.

Общение государства и граждан посредством писем (заявлений и т.д.) можно анализировать как форму реализации властного контракта. Обе стороны в этом контракте (власть — народ) принимали негласные правила

игры, следовали связной модели поведения. Это была своеобразная форма сотрудничества граждан и государства, — сотрудничества, в целом не окрашенного взаимной любовью и симпатией. Но столь несвойственная демократическому обществу форма общения и взаимодействия власти и общества, однако, достаточно привычна, удобна и приемлема в рамках российской традиции, она вполне адекватна политической культуре народа и эпохи. Часть общей культуры народа — политическая культура — является механизмом адаптации человека к миру. Формирование особого типа политической культуры, зависящего от намеренного влияния со стороны властвующей элиты, приводит к тому, что в таком обществе не законы, а реальный и неписанный порядок отношений между властью и народом становится всеобщим руководством к действию[5].

Сразу после революции жгучее желание апеллировать к власти (вступить в диалог с властным лицом посредством написания письма, заявления и т.д.) диктовалось самим временем революционной ломки, гигантскими сдвигами в историческом бытии России. Апелляция во власть в этих условиях — своеобразный акт протеста индивидуума против своей исторической ничтожности на фоне событий грандиозного масштаба. Это — акт индивидуализации человека путем инициирования диалога с государством в лице его важнейших институтов или кого-либо из «вождей». В этом смысле характерны довольно многочисленные проекты преобразований и советы деятелям режима. Не следует забывать о расцвете жанра «заявления-жалобы» в периоды массовых нарушений политических и гражданских прав человека (включая имущественные), особенно в условиях ожесточенной гражданской войны.

Несколько иная ситуация окрашивает специфику общения власти и общества посредством писем и реакции на них в годы НЭПа. В то время у определенных слоев народа осуществлялся некий возврат, реверсивное историческое движение от революционного романтизма периода революционных событий к большему социальному реализму, основанному на учете общественных реалий и сложного социокультурного наследия дореволюционной России. В этих условиях возрастало значение диалога между гражданами и государством — в силу ограниченной «либерализации» общественной атмосферы, большей потребности власти наладить взаимодействие с социумом. Диалогичность взаимодействия предполагает ту или иную форму компромисса между участниками диалога. С этой точки зрения НЭП — переходная и неустойчивая система — в значительной степени отмечен печатью компромисса. Отсюда и столь высокая степень интенсивности «петиционной» формы общения населения с властью. Но, с другой стороны, переход к НЭПу усилил социальное расслоение общества и привел к серьезным изменениям в общественной психологии и социальном укладе жизни. На изменение психологии масс влияли такие факторы, как: вопиющее противоречие между обещаниями «всеобщего равенства и справедливости», благосостояния и реальной действительностью; усталость от тягот повседневной жизни и неопределенности. Это стимулировало веру в светлое будущее. Низкий уровень жизни, страх потерять работу вызывали у рабочих чувство беззащитности перед произволом государственных струк-

тур и способствовали развитию тенденции к приспособленчеству. Кроме того, складывание в период НЭПа государственной системы предоставления социальных благ населению (жилье, бесплатное медицинское обслуживание, страхование) стало мощным средством воздействия на общество, сознание членов которого все более деформировалось[6].

П. А. Сорокин особо обращал внимание на продолжавшуюся в 1921-1922 гг. морально-правовую деградацию, на фоне которой в 1922 г. наметилась и здоровая реакция. Массовая психология и идеология изменились по существу, что проявилось, прежде всего, в отрицательном отношении к коммунизму, социализму и ко всему, что с ним связано. С другой стороны, восстанавливалось положительное отношение к частной собственности и собственнику, наблюдались серьезный подъем религиозности и привязанности к церкви, в частности, к православной, резкий рост национального чувства и полное дискредитирование интернационализма, глубокое сознание необходимости надеяться только на себя и рост веры в возрождение России и русского народа[7].

Социальная справедливость: ментальное измерение

Неким связующим звеном между указанными выше двумя аспектами (ментальным и политическим) «писем во власть» является отношение к социальной справедливости. Преломление в сознании людей в первые послереволюционные годы всего многообразия тем, относящихся к самому коренному содержанию революции (а социальная справедливость, безусловно, относится к числу проблем, составляющих ее смысловое ядро), достаточно емко характеризует сдвиги в массовом общественном сознании. Современная социология строит тернарную модель социума на трех параметрах — эффективность, справедливость и свобода — в виде треугольника с различными видами модификации[8]. С другой стороны, для рядового человека, как правило, социальная справедливость (или несправедливость) имели конкретные проявления и весьма зримые очертания в реальной жизни. В письмах (заявлениях, жалобах) к справедливости взывали, о ней просили, скорбели о ее отсутствии и зачастую просили наказать конкретных виновных. В этом смысле письма о социальной справедливости — также элемент властных отношений и форма реализации властного контракта.

«Свобода, равенство, справедливость», — этот лозунг был начертан на знаменах любой революции. И в этом плане большевистский переворот 1917 г. не является исключением. С точки зрения большевистского руководства справедливость представляла собой набор готовых формул, предназначенных осчастливить человечество в целом и россиян в частности, прежде всего с позиций освобождения от эксплуатации и гнета во всех формах, ликвидации социального неравенства. Справедливости навязывался классовый характер, а с другой стороны, подчеркивалось, что оценка социальной действительности с точки зрения справедливости «в научном отношении нисколько не подвигает нас вперед»[9]. Вполне объяснимо поэтому

отсутствие интереса к разработке данной проблематике в отечественном обществоведении, долгие годы находившемся под спудом марксистских догм. Не вызывало сомнений соответствие справедливости исторической необходимости и достижение полной справедливости только при коммунизме — «от каждого — по способностям, каждому — по потребностям».

Представляется, что понятие справедливости претерпело определенную смысловую трансформацию в русском сознании на протяжении нескольких послереволюционных лет. Конец 1917 и 1918 гг., в основном, окрашены в целом традиционным пониманием социальной справедливости в том виде, в котором оно сформировалось предшествующей эпохой и революционными событиями. С одной стороны, это было время, «когда на Руси существовала совесть; когда даже темный, уездный русский народ чувствовал в душе свое тяготение к социальной справедливости, понимаемой, может быть, узко, но все-таки — понимаемой»[10]. А с другой, «условия, среди которых он жил, не могли воспитать в нем ни уважения к личности, ни сознания прав гражданина, ни чувства справедливости...»[11].

Говоря о последней, следует учитывать,что отношение к ней формировалось под давлением ряда специфических факторов российской истории: патриархальности строя и слабости демократических традиций; развития государства как воплощение власти в определенных носителях; наличия крепостного права и общественного ведение хозяйства по типу восточных деспотий и т.п. Несомненно, в сознании многих большевистская революция сразу после ее свершения виделась если не прямо выросшей из вековых народных устремлений к социальному равенству и социальному освобождению, то, по крайней мере, ассоциировалась с ними. Более того, неразрывной кажется связь между желанной социальной справедливостью и свободой (или волей) в ее традиционном народном понимании. Иногда эти категории весьма близки или даже идентичны в смысловом контексте. Большевики же рассматриваются как реализаторы народных устремлений, люди, прокладывающие путь к свободе. «Свободные 20 миллионов русских буржуа сделают остальные 160 миллионов такими рабами, какими они никогда и не были. Свобода должна существовать только для 160 миллионов, остальные 20 миллионов должны подчиниться большинству», — писал в декабре 1917 г. в письме большевистскому руководству один из жителей Петрограда. Этот же корреспондент уточнил, каким образом подобная свобода, отождествляемая с социальной справедливостью, может быть достигнута: «... свобода должна быть только для угнетаемых. Для угнетателей нужна только палка. Только палкою введем справедливость на нашей земле»[12].

Примечателен предлагаемый способ «введения» свободы и справедливости в России — палка, насилие. Мысль о допустимости насилия по отношению к меньшинству — а в данном случае речь идет об имущем меньшинстве — не только не казалась противоречащей смыслу справедливости, но и вполне укладывалась в рамки представлений о методах достижения большинством оправданных в народном сознании целей. Известно, что подобные представления вполне согласовываются с большевистской концепцией диктатуры пролетариата. Идея о легитимности насилия в интересах социальной справедливости, в интересах большинства, надо сказать, никуда

не исчезла и впоследствии из общественного сознания. В годы гражданской войны и позднее она лишь превращается из господствующей в одну из многих (и часто противоречащих друг другу) линий сознания, сплетавшихся в тесный клубок представлений о свободе, справедливости, методах их достижения и т.д. Причем насилие большинства не обязательно видится как осуществляемое опосредованно при помощи «справедливого» государства и его карающих органов. Допустимыми признаются и методы прямого действия. Даже в годы расцвета НЭПа рождаются подобные частушки : «Я любому богачу Нос и рыло сворочу. Сворочу и нос и рыло. И скажу, что так и было»[13].

Редакция газеты *Известия*, собиравшая подобный материал «с мест», поощрительно комментировала его как «самобытное и яркое» отражение «непримиримости двух начал — кулацкого и трудового»[14]. Советская власть в данном контексте видится как государственная сила, снимающая запрет общественной морали (причем, в условиях мирного нэповского времени) на прямое, вне рамок официальной законности, действие по насильственному установлению «социальной справедливости». «Снести голову» «богатому угнетателю» как самый простой и поэтому привлекательный способ решения проблем — одна из ипостасей формировавшегося с 1917 года комплекса представлений о целях и методах социальных преобразований. Антибуржуазные настроения заметны в разных слоях общества с самого начала революции. Заявление мещанина-питерца И. Н. Давыдова от 22 января 1918 г. с проектом «добыть и выкачать возможно большие суммы от классов состоятельных — буржуазных» — тому пример. Автора возмущает явное сохранение несправедливости в революционную эпоху:

> «Эти буржуи паразиты живут вовсю, от массы свободного времени сидят в ресторанах и кафе, пьют и едят за десятерых, платят за все бешенные деньги и тем самым заставляют рестораторов запрещенными способами добывать провизию и преподносить под пикантными соусами обжорам буржуям.
>
> В рабочих квартирах нет мяса, масла и хлеба, а в ресторанах всего вдосталь, рабочему же трудовому человеку ресторанные цены не по карману.»[15]

Подобные настроения находили свою богатую почву на протяжении всего послеоктябрьского периода:

> «офицеров — жандармских, полицейских и класных чинов полиции, а также министров и т.п. высших дворян с крупными помещиками во главе, кои имели до 100 десятин включительно, сюда же все чины охранного отделения и тайной полиции, — сгруппировать и отправить все без исключения вышеуказанные категории в Соловецкий монастырь, убрав из последнего всех монахов и попов... Будь на то моя воля их я бы отправил прямым сообщением по адресу: Ленинград, Петропавловская крепость, Трубецкой бастион, камера Шульца-Бенковского и казнил. Давно пора Вам прибрать в безопасное местечко эту погань, чтобы не отравляли своим проклятым дыханием Рабоче-Крестьянскую Россию. Попили рабочей крови немало ради

коронованных болванов и своей карьеры, пришел конец давно и на них, оставьте неясности с этой тварью, не может быть никакой гуманности для них.»[16]

Аналогичные настроения культивировались в молодежной среде. В письме ученика из города Севска Орловской губернии (под псевдонимом А. Горемычный) явно прослеживается недовольство тем, что революция не оправдала чаяний «простого народа»:

«Это есть большая несправедливость в нашей школьной жизни тогда, когда в ней учатся многие богатые классы, поповские сынки и буржуазные дочери учатся и приобретают знания, а многие бедные ученики в силу своих материальных условий вынуждены бросать учиться и зарабатывать себе кусок хлеба тогда, когда другие получают деньги и тратят их на свои удовольствия.»[17]

Резко звучат строки письма неизвестного коммуниста Ленину от 19 ноября 1920 г.:

«Несмотря на то, что вот уже 3-й год прошел с тех пор, как в России власть находится в руках Советов рабочих, крестьянских и крас[ноармейских] Депутатов, во всех крупных промышленных городах Советской России наблюдаются такие явления, которые совсем не говорят о существовании диктатуры пролетариата. Я хочу указать на самое оскорбительное из них. В городе (в данном случае Казани, но это бывает, как я указал, во всех крупных городах) живут много из бывших крупных фабрикантов и буржуев, входя в квартиры которых, думается, что настало опять "старое доброе время". Эти господа и не знают, ЧТО ИДЕТ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА, ЧТО ВЛАСТЬ НАХОДИТСЯ в руках рабочих. Они как прежде живут в роскошных, обширных и теплых квартирах с роскошной мебелью, в кухне можно встретить жирного повара с белым колпаком, который варит и жарит, массу разной прислуги, опять звучат эти слова "барин, барыня", а летом они как прежде едут "отдыхать" на дачи, и это в то время, когда у нас диктатура пролетариата, а рабочие почти голодают и холодают и по-прежнему живут в... сырых конурах. Когда я это вижу, мне просто становится стыдно за пролетарскую революцию. Почему до сих пор не обращено никакого внимания на это? Почему рабочих не переводят в буржуазные квартиры, а буржуев в рабочие подвалы? Почему не реквизируется их мебель в рабочие клубы? Почему вообще до сих пор не уничтожена эта шайка буржуев?»[18]

Справедливости ради следует отметить, что у ряда жителей было несколько иное понятие о социальной справедливости. Письмо жителя Демянского уезда Новгородской губернии Д. Г. Чусова от 13(26) июня 1918 г. яркий пример тому:

«В России совершился переворот и объявилась революция, в ознаменование события дома наши украсились флагами, в знак обновления, с торжественным крестным ходом, духовенство служило молебны за свободу народов России, провозгласив по обычаю многое лето и вечную память воинам, павшим на поле брани. За избавление пленных молились и плакали,

просили мирной жизни. Ненавистная полиция упразднилась, явились комитеты, которыя заменились советами р[абочих], к[рестьянских], с[олдатских] д[епутатов], с управлением же дем[ократического] республик[анского] строя, от коих в отношении гражданской свободы получилась неволя, сословная борьба и насилие. Лучших граждан выселяют, отбирают имущество, разоряют до последней крайности. В довершение — голод и война, промышленность и торговля в плачевном состоянии. Для спасения необходимо восстановить согласие, водворить бежавших на свои места, отнятое возвратить, забыть сословное, обновить порядок в свободной жизни, всесословное обязательное учение грамоте, тем более ремесленное, разрешить правильно земельный вопрос, изгнать коммуну и признать собственность личную по имуществу, стараться упразднить монополию, должна быть во всем конкуренция, полнейшая свобода слова, востановить права свободного способа каждого по желанию вероисповедания, перемены места жительства, промышленности и торговли [...]»[19]

В первые месяцы после революции в письмах звучит понимание того, что центр не способен контролировать местные власти в полной мере. И тем не менее, апелляция к центру доминирует:

«Знаю, что Вы вряд ли имеете возможность оказать какое-либо воздействие на власть в Астрахани. Отлично понимаю Ваше бессилие, но нет теперь у нас иной власти, власти центральной, что-ли?»[20]

Все беды чаще всего относятся на счет местных властей:

«[...] мы полагаем, что подлинная советская власть не такая, как ее проводят на местах различные Южсовхозы и ИЦКи и надеемся, что голос наш будет услышан подлинной Рабоче-крестьянской властью, и мы наконец получим свободу и право на человеческое существование.»[21]

Политика местных властей рассматривается зачастую как «несправедливое распоряжение во всех отраслях, как по земельному делу, так равно и по суду», а причина последнего видится в том, что во «всех вышеуказанных властях люди сидят большинство не по желанию народа посредствам выборов, а через родство и знакомство»[22]. Доверие к власти не было сколь-нибудь решающим фактором. Побудительные мотивы, очевидно, были комплексными. Среди них не последнюю роль играло желание найти управу на произвол местных бюрократов. Апелляция «в верха» виделась как более эффективный способ добиться благоприятного решения проблемы, часто уже на основе предыдущих контактов с представителями власти на местах. Еще одним побудительным мотивом, толкающим людей на обращение в высокие инстанции, было твердое убеждение, что на местах извращают политику центральных властей. Поэтому письмо либо заявление в Москву виделось как диалог с властью напрямую, без посредников.

С конца 1918 г. и далее на менталитет народа определяющее влияние стали оказывать явления и процессы, связанные с гражданской войной. Понимание социальной справедливости также несколько видоизменяется в соответствии с жестокой исторической реальностью. Проблема справедли-

вости тесно связана и с утопическими воззрениями. «Эти лучшие чувства и мысли я бы назвал "социальным идеализмом" — именно его сила позволит нам преодолевать мерзости жизни и неустанно, упрямо стремиться к справедливости, красоте жизни, к свободе», — так выразил характерные для интеллигенции чаяния М. Горький[23]. Реалии революции вскоре перечеркнули эти надежды: «Издохла совесть. Чувство справедливости направлено на дело распределения материальных благ, — смысл этого «распределения» особенно понятен там, где нищий нищему продаст под видом хлеба еловое полено, запеченное в тонкий слой теста»[24].

Эпохой первого наибольшего взлета утопии можно считать период «военного коммунизма». Анализ писем первого десятилетия советской власти показывает, что постепенно, с завершением гражданской войны и переходом к НЭПу уменьшается количество утопических программ преобразования российской действительности и все больше раздается критических замечаний в адрес Советской власти.

Разные группы населения понимали социальную справедливость в меру своей образованности или серости. Письма 20-х гг., не говоря уже о периоде гражданской войны, демонстрируют огромный дефицит социального оптимизма среди представителей разных групп населения, особенно среди крестьянства. Крестьяне в большинстве своем не верили в светлое будущее при коммунистической власти, как не забывали они и ужасов военного коммунизма. В восприятии власти крестьянами на протяжении всего послереволюционного десятилетия прослеживается некая двойственность. С одной стороны, наблюдается характерное для крестьянства недоверие к власти, которое имеет своего рода генетический характер, которое вызревало на протяжении веков. Государство, отождествляемое с массой представителей властных органов, воспринималось как негативная величина и зло. В 1920-е гг. это недоверие к власти в первую очередь определялось противоречием официальной коммунистической идеологии и традиций общины. Кроме того, недоверие селян к власти (и прежде всего его разорившейся, люмпен-пролетарской части) усиливалось самим фактом перехода к НЭПу, ибо последний принес с собой то, против чего, согласно укоренившемуся в сознании мнению, боролась новая власть — против социальной несправедливости. С другой стороны, сельское общество первой половины 1920-х гг. не мыслило себя вне сфер государственного влияния. Здесь сказывалось, видимо, не только целенаправленно формируемая в советское время зависимость крестьян от власти, но и оборотная сторона традиционной соборности, заключавшаяся в ослаблении личной ответственности и инициативности, косвенном поощрении инертности и иждивенчества. Характерной чертой последнего являлась апелляция к центральной власти, рассматриваемая селянином в качестве единственно возможного средства разрешения всех проблем[25]. Но к 1927 г. в крестьянских письмах все чаще звучит недовольство конкретными формами построения социализма в деревне, неприятие социализма и Советской власти. Кроме того, для «писем во власть» все более частым становятся противопоставления и сравнения типа «раньше и теперь», «до революции — после революции».

Еще одна грань традиционных воззрений на социальную справедливость, на освобождение личности от гнета общественных обстоятельств связана с религиозными и квази-религиозными (облеченными в религиозную форму) идеями о приоритете нравственного, духовного очищения над политическими изменениями. В первый послереволюционный период эти мотивы также звучали в письмах, воззваниях, листовках, обращениях во власть.

> «Не в революции политической, не в ломке государственного механизма спасение наше. Нет, но в обновлении религиозном, взамен сгнившим от времени и неупотребления церковно моральных принципам новыми чистыми и высокими идеалами личной нравственности. Только обновленная личность может обновить нашу государственность. Формы государственные изменятся сами собою, когда мы изменим сущность народной души», — говорится в одном из воззваний декабря 1917 года.»[26]

С нравственным очищением придет и новое, более справедливое общество без угнетения и социальных противоречий:

> «Спасайтесь, братья и сестры, и спасайте несчастное человечество. Бросьте старые, дырявые знамена политических партий, дабы объединиться под знаменем религиозного возрождения. Станьте воинами грядущего Святым Духом Христа, положите за него жизнь свою, дабы снова обрести ее.»[27]

Мысль о противопоставлении революционным методам общественного переустройства задач религиозного и духовно-нравственного возрождения народа задолго до революции 1917 г. овладевала умами части интеллектуальной элиты России (по крайней мере, со времен сборника *Вехи*). В данном случае, однако, мы имеем дело с отражением сходных идей в массовом менталитете. Примечательно, однако, что в письмах и иных формах обращения во власть подобного рода отнюдь не звучит мотив отрицания революции. Наоборот, лишь революция видится историческим действием, способным создать предпосылки и возможности для решения задач духовного (и, как следствие, социального) возрождения. В случае с упомянутым воззванием, — этой гипотетической предпосылкой является устранение старого духовенства и ликвидация старой Церкви. Воскресить души мешают «официальные государственные церкви всего человечества, официальная государственная нравственность. Они есть Антихрист, ведущий Мир и нас [к] погибели и страданиям суда душевного»[28]. Понятно, что покончить с официальной, освященной государством религиозностью можно лишь революционным путем. И в данном контексте большевики видятся той силой, которая способна сломать преграды на пути к достижению справедливого общественного порядка путем религиозно-нравственного очищения и создания новой Церкви.

В ряде писем во власть первого послереволюционного времени прослеживается и достаточно прагматичный подход к проблематике социальной справедливости. Ряд авторов писем ожидали от революции и большевистского правительства вполне конкретных действий законодательного

порядка, направленных на решение жгучих социальных проблем, доставшихся в наследство от старого режима. В ряде случаев эти ожидания оправдались сразу, в ряде других — с опозданием или не оправдались вовсе. Например, некто М. Шувакс из Мурома в декабре 1917 г. в письме во ВЦИК сетовал:

> «Когда вы вырвали власть из беспощадной буржуазной лапы, я ни минуты не сомневался в том, что первым законом будет работа или минимальная плата, т.е. в каждом городе осуществлена будет контора, которая должна давать безработным работу или минимальную плату. Тогда измученная масса сразу увидела бы не лозунг, а творчество. Я уж не говорю о важности самого закона, но, к сожалению, до сих пор такого закона нет [...].»[29]

Действительно, лишь 30 января 1918 г. было принято постановление Народного Комиссара труда за подписью А. Шляпникова «О взносах предпринимателей в фонд безработных», предписывавшее при закрытии предприятия и увольнении рабочих взимать с предпринимателей платежи во Всероссийский фонд безработных. Положением СНК «О биржах труда», опубликованном в № 22 *Газеты Временного Рабочего и Крестьянского Правительства* от 31-го января 1918 года создавались местные и областные биржи труда. Кодекс законов о труде 1918 г. содержал раздел под названием «Правила о безработных и о выдаче им пособий»[30].

Как уже говорилось, многие ожидания, связанные с установлением социальной справедливости, советское правительство, по мнению авторов писем, не оправдало или оправдало в совершенно искаженной форме. Это относится к мнению тех корреспондентов, для которых социальная справедливость вполне конкретна и выражается в реальном улучшении условий жизни, получении ранее недоступных материальных благ.

> «Я хочу быть честной, зарабатывать честно свой кусок хлеба, не быть ни паразитом, ни врагом народа, хочу, чтобы все пользовались благами жизни, из которых первое — хорошее питание, 2) приличное жилище, 3) хорошая одежда и пр[очее], пр[очее]. А для духа — свобода собраний, слова и всяких "невооруженных" манифестаций», — писала 7 января 1918 г. жительница Петрограда.[31]

Процитированное письмо интересно тем, что поводом для его написания послужил разгон Учредительного Собрания. Автор письма возмущена действиями большевиков и даже выражает сомнения в здоровье их вождей, подорванном, по ее мнению, переутомлением. Характерно, между тем, что она не стоит на явно антибольшевистских позициях, а лишь осуждает «казацкие и жандармские» методы властей. Вполне можно было бы, считает она, дать возможность Учредительному Собранию работать: «Если бы Учредительное Собрание признало захват власти большевиками, то вся, я думаю, буржуазия подчинилась бы этому решению, и все прекратили бы "саботаж"[32]. В глазах этой женщины власть не оправдывает возлагавшихся на нее ожиданий, связанных с «мирным строительством» социально спра-

ведливого общества. Интересно, что неотъемлемым элементом последнего она видит гражданские свободы, столь грубо попранные большевиками.

Вообще, жалобы на нарушение прав (особенно на несправедливость арестов) представляют собой самостоятельный комплекс среди «писем во власть» с первых же дней большевистского переворота. Врач Оверк в заявлении председателю Ревтрибунала при Петросовете С. С. Гомбаргу (Зорину) от 25 июня 1918 г. пишет по поводу ареста своей жены: «В старое, царское время рабочие вопили, что нет справедливости, а Вы — рабочий, честный большевик — справедливо изломали мою жизнь? Вы затянули петлю на моей шее, теперь остается потянуть за ноги»[33]. В письме В. Д. Бонч-Бруевичу из Москвы 23 мая 1919 г. Э. Каплан-Перпер жалуется на арест в Екатеринославе группы членов Вегетарианского общества:

> «Неужели только за то, что, исповедуя законы любви и добра, старались также, соответственно своим убеждениям, вести свою жизнь и тем же служить ближним. Неужели их мирный труд, направленный на самоулучшение и служение слабым и малым, работая на огороде или на просвещение ближних, — есть дело преступное в нашем Социалистическом строе и требует наказания таких деятелей, истинных друзей народа, чистейших коммунистов-упрощенцев.»[34]

Взятие в Пензе заложников послужило поводом для ряда писем в 1919 г. В. Д. Бонч-Бруевичу участника революционного движения 70-х гг. А. Н. Теплова:

> «Так вот *поставьте же юстицию получше, чтобы русский гражданин имел право гражданина в полном смысле этого слова.* Ведь это очень выгодно Советской же власти, а без этого положительно нет возможности спокойно работать и защищать справедливость, когда кругом, с одной стороны, воровство, спекуляция, саботаж невероятный, а с другой — аресты.»[35]

И в следующем письме:

> «Напоминаю Вам еще раз, что юстиция поставлена у нас отвратительно плохо, поэтому высшей власти следовало бы поставить судопроизводства на должную высоту. Но пока что, а высшей власти теперь же следует проявлять свою власть и авторитет, чтобы не происходили роковые ошибки [...] Не рубите того дерева, на котором сидите. Ведь есть же другие исходы. Один из этих исходов — быть честным, справедливым, трудолюбивым и уважать права других и особенно людей, дорогих для России. Их труд, их преданность интересам родины, их любовь неподкупная к матушке России испытана летами и трудами.»[36]

И здесь возникает противоречие, с наличием которого весьма непросто было примириться многим, возлагавшим на революцию под руководством коммунистов надежды на очистительный ветер перемен и строительство справедливого общества. С одной стороны, как показывает анализ писем, именно большевики, как никто другой, олицетворяли ту властную силу, которая способна установить в России новый, более справедливый порядок.

С другой стороны, большевики отпугивали своей склонностью к экстремальным действиям, к попранию утвердившихся в сознании части населения норм закона, общественного правопорядка, традиций и привычек. В дискурсивном выражении для большинства авторов писем эти проблемы не увязывались в единый комплекс элементов, составляющих социально справедливое общество — наряду с вопросами обеспечения социального и имущественного равенства и т.д. (автор приведенного письма является скорее исключением, нежели правилом). Однако эта не вполне артикулированная в дискурсе идея о связи гражданских и политических свобод, народных традиций и устоявшихся представлений о допустимых пределах государственного насилия с социальной справедливостью все же присутствовала в менталитете нации, особенно ее более образованной части. Некоторые авторы писем, вполне лояльно изначально настроенные по отношению к большевикам, в итоге наблюдений за конкретной политической практикой нового режима, приходят к страшному выводу — идеи социальной справедливости могут быть использованы в целях достижения политического господства и манипулирования толпой. Так, житель Москвы К. Антонов, размышляя над портретом Ленина, полагает , что его «насмешливый взор» как бы говорит:

> «Несчастное людское стадо, как легко тебя одурачить самой фантастической сказкой! Стоит только поддакивать твоим страстишкам и низменным инстинктам, стоит поднять в тебе зависть, злобу и месть, польстить твоей хваленой мудрости, которая века держала тебя в рабстве, заставляя своими же руками душить всякий протест, всякий проблеск свободы, достаточно поманить кисельными берегами и молочными реками, и ты пойдешь, страдая и погибая от лишений и невзгод, за любым фантазером-крикуном, за любым проходимцем, вновь душа всякий протест и подготавливая себе новое, может еще более тяжелое, ярмо раба.»[37]

По мере того, как в стране разгоралась гражданская война, в апелляциях граждан к власти относительно проблем социальной справедливости появляются новые обертоны. Это было связано с рядом существенных обстоятельств, имеющих отношение к эволюции менталитета в условиях невероятных испытаний первых послереволюционных лет:

• во-первых, у граждан появляется уже достаточно обширный опыт взаимодействия и контактов с новой властью. Возникает база для наблюдений и обобщений, для реалистических ожиданий тех или иных властных действий. Ситуация, при всей ее хаотичности и драматизме, становится более прогнозируемой. Более-менее проясняются намерения и стратегическое направление действий коммунистического государства;

• во-вторых, вызревавшие в течение длительного исторического времени достаточно туманные и абстрактные представления о социальной справедливости и, главное, о конкретных путях ее достижения в российском обществе, подвергаются испытанием реальной жизнью, конкретной практикой социальной революции. Жажда равенства и справедливости, романтическое отвержение угнетения, в которые было окрашено самое первое восприятие революционных событий, вступают в столкновение с грязью и

кровью гражданской войны. Понятие социальной справедливости во многом де-романтизируется, а ее восприятие в массовом сознание приобретает ожесточенный характер. Можно сказать, что гражданская война — время прощания с иллюзиями и призрачными химерами ожидания скорого рая на Земле для многих и многих людей;

• в-третьих, гражданская война и военный коммунизм ударили как раз по большинству, — по тому самому, которое теоретически должно было выиграть от революции. На старое, дореволюционное восприятие этим «победившим» в 1917 г. большинством антиномии социальная справедливость — несправедливость (и их конкретных проявлений) накладывается совершенно новая проблематика гражданского конфликта и военного коммунизма. Появляются, например, новые ракурсы несправедливости, нарушения общественной гармонии, связанные с каждодневной борьбой большинства за физическое выживание. С одной стороны, острота ситуации обостряет восприятие проблематики социальной справедливости, переводя ее в плоскость отстаивания права каждого человека не просто на достойное существование, а на жизнь вообще. С другой стороны, неожиданно для большинства Советская Россия на новом витке истории начинает воспроизводить по глубинной сути старые и до боли знакомые формы искажения социальной гармонии. Так, на место старого неравенства приходит новое (вместо, главным образом, имущественного, появляется статусно-иерархическое неравенство); на смену старой привиллегированной элите заступает новая, коммунистическая. Город как средоточие власти и государственной бюрократии, а также политически близкого большевикам пролетариата по-прежнему является культурно и социально чуждым деревне (и наоборот).

Наиболее ярко в письмах «с мест» периода гражданской войны проявилось неприятие новой кастовости и иерархичности, входивших в советскую жизнь по мере консолидации режима и его правящей группы. Очевидно, что традиционно понятие социальной справедливости в России носило выраженный эгалитарный смысл. Социальная несправедливость и общественное неравенство были если не совпадающими, то, по крайней мере, весьма близкими категориями. Поэтому столь высоки были связанные с революцией ожидания всеобщего уравнивания в имущественном и гражданском положении. Отсюда и глубина разочарования в конкретной практике нового режима.

Из всех многочисленных проявлений неравенства и иерархичности наибольшее отражение в письмах получили примеры противопоставления новой коммунистической элиты всему остальному населению. Собственно, она сама себя ему активно противопоставляла, быстро воспринимая барственно-бюрократические и антигуманные способы деятельности и взаимоотношений с гражданами. Это относилось как к тыловому, так и армейскому «начальству»:

> «Жаловаться никуда никто не смеет. Мне приходилось слышать: "Где и что жаловаться, все равно ничего не выйдет". Между прочим, некоторые товарищи, служившие в Красной Армии, указывали на факт поданных

18 заявлений в Политотдел 6-й армии, находившийся во время операции на Северном Фронте при ст[анции] Малакуша Северной жел[езной] дор[оги], от которых никакой пользы не было», — говорится в одном из писем во ВЦИК начала 1921 г.[38]

Письма периода гражданской войны изобилуют описаниями стиля и методов руководства новой бюрократии, воспринявшей и развившей худшие качества дореволюционного российского чиновничества.

«Во всем видна протекция, дружба за счет службы, основанная на принципе "рука руку моет", отчего дана широкая возможность всем хитрым и льстивым, но чуждым нам по духу и идее людям, удобно примазаться и занять теплое местечко, угодивши или непосредственно "Советской шишке" или через его жену добившись того или иного выгодного положения» , — писал в Казачий отдел ВЦИК сотрудник Хоперского Окружного военкомата И. Евстратов в 1920 г.[39]

А вот какую картину нравов местных «ответственников» в Малоархангельском уезде Орловской губернии рисует Ф. Бобриков:

«Приезжают в какое-нибудь село, напьются самогону и требуют хорошую подводу, а если не будет хорошей лошади — угрожают гражданам оружием. Живут в шикарных квартирах. На Рождественские праздники советские служащие и тому подобные получили подарки, как передавали. Учителя некоторые обратились, чтобы получить для детей на елку, получили категорический ответ, что после дадим, а некоторым крестьянам говорят: "Вы недостойны".»[40]

Особенно велико количество подобного рода жалоб в связи с продовольственной политикой Советской власти.

«Мы, крестьяне-трудовики, при царизме были под гнетом полицейских держиморд, а в настоящее время еще больше находимся под гнетом и произволом несознательных и ни в чем неразбирающихся, величающих себя (партийными) продинспекторами [...]», — писал крестьянин Бугурусланского уезда И. Чернышев[41].

«Несправедливое насилие», — так характеризуют действия агентов Упродкома жители села Медного Тамбовской губернии.

«Со стороны агента Кирсановского Упродкома и руководимого им продотряд было проявлено столько беспощадной суровости и нечеловеческой жестокости, что население во все время пребывания продотряда находилось в паническом состоянии. Насилия и расправы проявлялись в самых диких формах. Немало пришлось перенести побоев, как рядовым гражданам, так и членам сельского Совета. Последние в течение нескольких ночей, не взирая на лютые морозы, держались под арестом в холодном помещении. Плетка и приклады, гулявшие по спинам граждан, невольно напоминали старое время проклятой эпохи царизма...», — жаловались они во ВЦИК в 1920 году[42].

Письмо коммуниста Н-ва из Кронштадта от 27 сентября 1920 г. рисует картину недовольства:

> «Источником напряженного состояния являются письма со всех концов России, из которых видят как несправедливо в деревнях грабят их семьи. Все эти письма, кем бы то не были получены, сдаются в это бюро. Еще более усилил волнение последний приказ о мобилизации белья и одежды в деревнях и где-то бы-то ни было. Говорят, ею не снабжали, а отбирают. И уже, как известно, их лозунг таков: "Мы умеем поддерживать власть и сумеем ее стереть!"»[43]

Неприкрытая угроза звучит в письме красноармейца С. Аристова:

> «Каждый красноармеец, находясь на боевом или трудовом фронте, защищает интересы Советской власти и совершенно не знает, что у него делается дома, уверенный в том, что дома его имущество находится под защитой существующих законов. Это тем более должен знать Трибунал и строго предерживаться такому правилу. Если же красноармейцы будут защищать Советскую власть [на] нашем и другом фронтах, стараясь разбить вооруженного врага и победить хозяйственную разруху, уверенные в том, что дома их имущество будет сохранено, и по окончании войны, вернувшись домой, они будут иметь возможность заняться мирным домашним трудом, они смогут поддержать [в] себе дух бодрости и довести войну до конца. Если же наоборот за пролитую на боевом фронте кровь и понесенные на трудовом фронте работы возмездием красноармейцам будет преподнесено окончательное разорение их домашних очагов и хозяйств, как в данном случае, которые восстановить в настоящее время нет никакой возможности, то винтовка сама вывалится из рук и от работы опустятся руки, что поведеть к окончательному разложению армии и к неминуемой гибели всех завоеваний Революции, ибо разорения своего никто завоевывать не станет уже по одному тому, что оно имело место при царском режиме.»[44]

Анализ материалов судебной статистики 20-х гг. позволили К. Б. Литваку сделать вывод, что крестьяне были наиболее законопослушной частью населения. Они в основном соблюдали все требования, которые, с их точки зрения, были «законными». Некоторые же преступления (типа лесопорубок) они просто не воспринимали как серьезные нарушения закона. Но в то же время действительно тяжелые преступления против государственной власти и управления совершались крестьянами вполне осознанно[45].

Традиционная картина мира русских крестьян в части, касающейся общества, строилась по принципу «матрешки»: предполагалась исходная включенность каждого крестьянина с семьей в общину-мир, а последней, в свою очередь, в Государство. Это проявлялось в мотивации социально-экономического поведения крестьян. Анализ двух тематических выборок — о налоге и о крестьянской торговле — корреспонденции, полученной в годы НЭПа редакцией *Крестьянской газеты*, показывает, что торговая активность крестьянина в большинстве случаев стимулировалась стремлением в назначенный срок рассчитаться по продналогу. «Излишки» для продажи образовывались, как правило, за счет предельной минимизации потребно-

стей его семьи. Жалобы на непосильность обложения — одна из ведущих тем в потоке крестьянский писем 20-х гг. (не говоря уже о периоде «военного коммунизма»). В традиционном контексте взаимоотношений народа и власти подразумевалась заинтересованность последней в поддержании тяглоспособности населения[46].

О несправедливости продовольственной политики задумываются даже рядовые коммунисты на местах. А. Чударов из г. Скопина пишет в 1920 г.:

> «Мы слишком упростили наши отношения к деревне. Всякое недовольство в деревне, всякий самый законнейший из законнейших протест мы привыкли считать "кулацким". Между тем, протестовать часто имеют основания не только кулаки, но и бедняки. Наша продовольственная политика часто бывает похожей на политику в неприятельской стране. Дело не в том, что мы берем, а в том, как и сколько берем.»

Автор письма считает, что все недочеты

> «являются неизбежным следствием нашей системы продовольственной политики. К сожалению приходится признать последнее. С другой стороны семьи, лучше обрабатывавшие земли, за сданные излишки не имели никаких преимуществ перед семьями, хуже обрабатывавшими ее, так как все товары, поступавшие в селения, распределялись по едокам. Когда же установленные нормы личного потребления крестьян при изъятии хлебных излишков совершенно перестали соблюдаться — исчез последний интерес лучше обрабатывать землю».

По мнению низового партийного работника,

> «система принудительного изъятия хлебных излишков, существующая теперь, никоим образом не может считаться системой, соответствующей задачам социальной революции» и призывает уделять «побольше внимания к интересам сельского хозяйства, побольше уважения к широким крестьянским массам, поменьше всяких отрядов, создание условий, способствующих развитию производительности труда на земле, правильная налоговая система, признание принципа обмена "товар за хлеб, товар за труд", — вот что должно сейчас же стать программой политики Советской Власти в деревне.»[47]

В противопоставлении труженика и бюрократа-«ответственника», в констатации противоположности их социальных устремлений авторы обращений к власти видят коренное нарушение справедливости. Итогом революционных преобразований вместо желанной свободы — социальной справедливости для трудящихся, стало «... предоставление свободы развития всем ответственным саботирующим работникам, но отнюдь не красноармейцам, рабочим и крестьянам»[48]. В сочетании с насилием и принуждением, правовым произволом периода военного коммунизма, все это рождало ощущение обманутых социальных ожиданий, разочарования и озлобленности. В этих условиях единственным способом борьбы за справедливость была апелляция прямиком в Кремль, к центральной власти: «Непоколебимая надежда и вера в Центральную Власть, как выразительницу спра-

ведливости и защитницу интересов трудового народа вселяет в нас уверенность, что просьба наша будет услышана»[49].

Но в письмах интеллигенции во время гражданской войны поднимаются более глобальные вопросы, связанные с социальной справедливостью. Так гражданка А. В. Дебор из г. Керенска Пензенской губернии в апреле 1919 г. в письме управляющему делами СНК В. Бонч-Бруевичу обращается к российской истории:

> «Царь Иоанн Грозный, "видя Государство в великой тоске и печали от насилия сильных и от неправды, умыслил привести всех в любовь", и учредил Челобитный Приказ в 1550 году. Почти пятьсот лет тому назад грозный палач народа все-таки счел нужным дать народу учреждение, в котором разбирали бы жалобы на несправедливые действия, чинимые представителями власти. У нас, в XX-м веке в Социалистической Федеративной Советской Республике, к сожалению, до этого еще не додумались.»

Причины несправедливостей автор видит, прежде всего, в отступлении от декретов и законов Советской Республики со стороны представителей Советской власти, особенно в уездах и вообще в провинции:

> «А жаловаться некому и некуда. Не пожалуешься же в высшую инстанцию, ибо там зачастую сидит брат или сват обвиняемого, и тебе еще нагорит за твою жалобу [...] учреждений для научения справедливости *граждан* сколько угодно: и Чеки и Веки и Печеки и Ревтрибуналы, всего не перечтешь, а вот обиженному гражданину и деваться некуда: или молчи или заявляй в Ч.К., где не исключается возможность, что из обвинителя ты не превратишься в обвиняемого.»[50]

Тогда как «гражданин-социалист» С. Г. Розенблюм в письме В. И. Ленину 15 марта 1919 г. подчеркивает, что «вне права не может быть порядка, и, следовательно, для создания социалистического порядка необходимо насаждение социалистического права.»[51] В прилагаемой к письму пояснительной записке автор отмечает, что для «поддержания этой власти, и тем более, для ее окончательного укрепления нужно кроме штыков еще и создание благоприятных условий существования для народа — как материальных, так и моральных». Особый упор делается именно на последнее обстоятельство:

> «население терпеливее относилось к материальным лишениям, необходимо всячески улучшать моральные условия жизни: надо создавать такие правовые условия, при которых каждый гражданин чувствовал бы себя равноправным членом советской семьи, чтобы не существовало граждан различных категорий». Несправедливость видится в том, что «продвижение вперед к социальному равенству почти неощутимо [...] "Не трудящийся да не ест!", но все трудящиеся должны быть объявлены равноправными гражданами.»[52]

Здесь следует обратить внимание на то обстоятельство, что властное воздействие на народные массы осуществлялось, в большей степени, с

помощью подзаконных актов. Подобный отбор законодательных положений, с помощью которых власть воздействовала на хозяйственную психологию села 20-х годов, проделал С. Ф. Гребениченко. Число последних было так велико, что декоративные законы тонули в море нормативных актов. Анализ позволил автору выделить два макротипа таких документов: «революционное декретирование» (5 %), т.е. чрезвычайные акты периода кризисов и 95 % документов, фиксирующих эволюционный путь трансформации бюрократией массовой «собственнической» психологии. Анализ динамики психологических установок селян (жалоб, недовольства, позиций в правовых конфликтах) позволяет проследить формирование к концу 1920-х гг. нового стереотипа массового сознания: иллюзорное видение благоприятных перспектив «справедливой» политики высшей власти как защитницы от произвола местной бюрократии[53].

Некоторые из обращавшихся во власть во время гражданской войны избирали для себя весьма оригинальную форму борьбы за социальную справедливость. Речь идет о доносе, но в специфической и присущей именно тому времени форме. Огромное число жалоб, заявлений, петиций, обращений в различные органы связаны с несправедливыми и беззаконными, по мнению авторов обращений, реквизициями, конфискациями и повинностями. В условиях военного коммунизма получил распространение «донос-жалоба» в связи с якобы неоправданно высокой нормой изъятия у автора доноса и заниженной — у соседа, знакомого и т.д. По сути, авторы подобного рода доносов требовали восстановления своеобразно понимаемой социальной справедливости: уравнивания всех в податной повинности перед государством. Справедливость — это когда либо всем хорошо, либо всем плохо, — таков, примерно, ход рассуждений авторов доносов. Нередко местные власти подозревались в фаворитизме, потворствовании за взятки всякого рода проходимцам в их стремлении избежать конфискации, разверстки, конной повинности и т.д.:

> «... землю нужно было бы давно национализировать и распределить между безземельными и беднейшими крестьянами, но между тем волисполкомом этого не сделано...»[54]

В. П. Булдаков считает, что при всей неприглядности стукачества, оно может быть важным источником для характеристики такой «движущей силы» революции, как людская зависть[55]. Грех доносительства коснулся и церкви. Письмо священника села с. Ржева Нечаевской волости Егорьевского уезда Рязанской губернии Василия Митродорова свидетельство тому:

> «Если у меня, прожившего священником четыре года и малосемейного взяли корову, то почему же не взяли у других священников малосемейных? Не взяли и [у] других кулаков — чайных торговцев в буржуазное время.»[56]

Совершенно особая грань восприятия социальной справедливости связана с глубинными социокультурными противоречиями аграрной и урба-

нистической России, с преломлением в менталитете сложнейших проблем взаимоотношений городского и сельского населения, рабочих и крестьян на фоне событий гражданской войны и становления большевистского режима. В целом, если говорить о типологическом анализе писем «во власть», социальное происхожение авторов, а также принадлежность к городскому либо сельскому социумам, имеет большое значение. Письма рабочих по многим параметрам весьма отличны от писем крестьян (впрочем, как и письма беспартийных — от писем низовых коммунистических активистов.

Даже способы апеллирования к власти у представителей разных социальных групп имели свои особенности. Крестьянство, в силу более вождистского, харизматического характера своего менталитета, предпочитало обращаться не в определенные государственные институты, а к конкретным деятелям большевистской верхушки, которым оно склонно было в большей степени доверять[57]. Это же относится и к пониманию социальной справедливости, которая мыслилась связанной в большей степени с деятельностью людей, «доброго» или «злого» начальства. Что же касается более образованных людей и, в особенности, жителей больших городов, то они, как правило, писали в соответствующие госучреждения либо партийные инстанции, т.е. больше доверяли политике в ее институциональном выражении. Это же относится и к письмам рабочих в годы гражданской войны и НЭПа.

Вот как пишет в 1920 году о противоречиях между городом и деревней крестьянин Тамбовской губернии, Н. Ф. Кретов, — судя по всему, человек, занимавшийся самообразованием, развитый и склонный к социальному анализу:

> «Крестьянство скопом обвиняют в самогонстве, спекуляции, укрывательстве дезертиров и хлеба. Да! Этот грех есть за ним. А разве город[ской] пролетариат в этом безгрешен? Я не понимаю: при чем же тут честные труженики земли — бедняки-крестьяне? Пусть за содеянное отвечает сама личность, но честный труженик-крестьянин должен быть другом пролетария. Трудовой народ должен быть неразделен, несмотря на психологическую разницу. Если пролетариат города не имеет в наше трудное, переходное время в достаточной мере хлеба, то ведь крестьянство не имеет того, чем этот хлеб добывается, и если крестьянин съел лишний кусок хлеба как производитель, то городской пролетарий больше крестьянина получает предметов, им производящих[ся], живя в сравнительно лучших условиях, как в смысле распределения времени труда, в смысле гигиены и политического развития.»[58]

Показательна в этом письме ссылка на то, что рабочие получают от государства значительно больше материальных благ, достающихся им в виде пайков, жилья и т.д. Подобного рода мотивы достаточно часто встречаются в письмах из деревни.

> «А больше всего недовольно наше трудовое крестьянство тем, что неравномерно распределяются продукты первой необходимости между городским и сельским населением, как-то мануфактура, обувь, соль и сахар и прочее. В ОТНОШЕНИИ БЕСПЛАТНАГО ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ, ТО НАШИ КРЕСТЬЯНЕ

НЕ МОГУТ СЕБЕ И ПРЕДСТАВИТЬ И ДАЖЕ ПРИХОДЯТ В НЕДОУМЕНИЕ, ПОЧЕМУ ГОРОДСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОЛУЧАЕТ УСИЛЕННЫЙ ПАЕК И БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ», — писал в годы Гражданской войны на имя Ленина крестьянин Северо-Двинской губернии.[59]

Но и рабочие чувствуют себя пасынками революции. Вот что пишет рабочий К. Антонова Ленину 10 января 1920 г.:

«Так как обманула нас русская революция, посулив всяческие свободы, а на деле превратив в несмеющих пикнуть рабов разного рода демагогов, не желающих считаться ни с какими историческими законами и опытом и заглушающими голос подлинной звоном своих громких набивших оскомину фраз, так не обманет никто из вновь грядущих насильников, потому что их пути и цели нам известны. В заключение могу только еще раз повторить, что насильем и неправдой, во имя каких бы чаемых благ и под каким бы знаменем они не творились, вы не создадите социалистический рай, а только вместо одной группы хищников создадите другую и при том может худшую и более беспощадную.»[60]

Проблематика социальной справедливости входит в ткань взаимоотношений между городом и деревней, рабочим и крестьянином в виде подозрительности и взаимных упреков в преимуществах и незаслуженных выгодах, которые каждый из них, якобы, извлекает из сложностей гражданской войны. Рабочие были склонны видеть в крестьянстве кулаков-спекулянтов, жиреющих на продовольственных трудностях городов. Крестьяне, в свою очередь, считали рабочих фаворитами новой власти, людьми, во многом руками которых творится беззаконие по отношению к сельским труженикам. «Город становится врагом деревни и деревня врагом города», — с горечью отмечает уже упоминавшийся Н. Кретов[61]. Водораздел между городом и деревней, пролегавший в массовом сознании, был чрезвычайно глубок и носил, по сути, антагонистический характер. Он ощущался как один из основных факторов, разрушавших социальную справедливость.

Постоянно в письмах в различные органы власти присутствуют требования и просьбы о признании прежних заслуг перед революцией, которые должны превалировать при оценке тех или иных проступков или преступлений последующего времени:

«Так же несправедливо тянуть к следствию и суду, сажать в тюрьму этих служащих, совершивших и такие деяния, как взятка за период истекшего времени вплоть до 1925 г. Ибо это проклятое наследие старого прошлого, въевшееся во всех, в плоть и кровь, не могло быть так быстро изжито, и, кроме того, не туда было устремлено внимание нашего Раб[оче]-Кр[естьянского] Правительства в то время, чтобы бороться с этим злом. Причины же, породившие взятку и толкнувшие этих малокультурных тружеников на эти преступления, настолько вески, что всех этих невольных преступников следовало бы оставить в полном покое, а не судить и сажать в тюрьмы. Разбираясь подробно в Социальном и Материальном положении их, невольно встает вопрос: неужели эти люди преступники? Нет, не преступники, а жертвы Революции.»[62]

А вот письмо студентов, связанное с чисткой вузов:

> «Нас гонят и за что же? Не за то ли, что мы служили в красной армии и проливали кровь за Советскую власть. Теперь говорят — это не в счет. Не за то ли, что мы теперь бьемся как рыба об лед и добиваемся образования на свои же гроши, заработанные всяким трудом (не гнушаясь никакой), теперь говорят — это не в счет... Да неужели это справедливо? Мы выбиваемся из последних сил, чтобы в конце концов стать на дорогу, а тут преграда — несправедливость. Где же искать справедливости как ни в Советской власти, а оказывается и здесь возможен произвол, да еще и над кем — над студенчеством.»[63]

Проблема «революционных заслуг» вылилась на страницы центральных газет и получила большой резонанс в самых разных слоях российского общества. Речь идет о письме Владимира Я. из деревни Добрая Креница Одесской губернии М. И. Калинину, в котором он жалуется на то, что, прослужив в Красной Армии в 1922-1924 гг. писарем, в настоящее время — безработный и нищий. В своем письме бывший красноармеец поднимает проблему вождей (Рыков, Каменев, Зиновьев, Калинин и др.), живущих в хороших домах и получающих большие оклады: «Итак, где справедливость. Мы были рабы и будем, потому что мы темны»[64]. Весьма любопытен ответ Калинина, прежде всего навесившего ярлык «явной контрреволюционности» письма, но в то же время как бы оправдывавшего сложившееся положение дел: «Бедняк, как мучался, так и мучается по сей день. Это не наша вина, а наша беда». Избавление от этого, по мнению «всероссийского старосты», дело будущего — социализма. Свою высокую зарплату оправдывает, с одной стороны, тем, что он «рабочая лошадь государства», а с другой, что он должен представлять свою страну на международной арене[65].

Заключение

В целом, в менталитете рядовых граждан Советской России в годы гражданской войны и НЭПа смысловое понимание социальной справедливости, как представляется на основе анализа писем, не носило цельного и гомогенного характера . Оно было достаточно внутренне противоречивым и состояло из множества компонентов. В понимание социальной справедливости входили как элементы прагматического свойства, вытекавшие из реалий повседневной жизни, так и комплекс идеологем и «мифологизированных» представлений. Кроме того, социокультурные особенности того или иного сообщества рождали свои особенности, свой ракурс воззрений на социальную справедливость (несправедливость) и конкретные формы их проявления и достижения. Единственное, что было характерно в той или иной степени для всех подходов, это выраженная эгалитарная направленность. Впрочем, само массовое сознание в те годы также в целом носило фрагментированный и противоречивый характер. В этом смысле оно

вполне соответствовало своему времени. Представления о легитимности насилия сочетались с его же отрицанием, когда дело касалось семьи, друзей, своей деревни, просто «хороших людей» и т.д. Высокие идеалы справедливости виделись оправдывающими доносительство. Принцип «своя рубашка ближе к телу» соседствовал с глобальными представлениями о справедивости для всего трудового народа и счастьи всего человечества. Нередко в письмах прослеживается разделение справедливости:

> «[...] вся эта история и вся эта ложь и несправедливость разбила во мне вдребезги всю веру в то, что есть какая-то так называемая справедливость не только среди обыкновенной народной массы, но даже среди той группы людей, которая как будто бы посвятила себя для великого дела, для дела постройки великого Советского Здания Социализма.»[66]

В какой-то степени хаос внешний порождал хаос внутренний, делая общую систему взглядов на такие фундаментальные вопросы, как социальная справедливость, неустойчивой, противоречивой и подверженной трансформации.

И все это преломлялось через российскую действительность первых послереволюционных лет:

> «Русский человек не привык и не умеет жаловаться. Целый ряд столетий он прошел через ряд унижений, оскорблений, приниженности. Ему не знакомы понятия ни о долге, ни о чести, нет еще у него своего Я. Этим пользовались в старое время, отчасти злоупотребляют этим и сейчас [...] Население мирилось и мирится со всем, если в каждом мероприятии видит полезность мероприятий, их разумное оправдание. Если оно сталкивается с явным злоупотреблением [...] здесь оно готово критиковать действия как угодно и часто не в пользу Власти.»[67]

Но постепенно набирали силу административно-командные методы общения власти с народом:

> «Создалось страшное недоразумение и взаимное непонимание. Между Властью и народом образовалась непроходимая грань. Народ начинает молчать. Молчит все... "Мовчит все, бо благоденствуе", — сказал еще Шевченко. Невольно встает вопрос: какая же разница между старой и Новой Властью? Невольно начинаешь думать, что такова вообще природа Власти. Мы переживаем страшную трагедию. Старая Власть всякие недовольства разрешала только штыками, новая — тоже.»[68]

После ликвидации НЭПа диалог власти и народа переходит в несколько иную плоскость,что самым прямым образом отразилось на содержании и характере «писем во власть» после «великого перелома». Но это уже тема отдельного разговора.

А. Я. Лившин
Московский Государственный Университет
имени М. В. Ломоносова
Институт Государственного Управления
и Социальных Исследований
Кафедра Истории Российского Государства
119 899 Москва

И. Б. Орлов
Государственная Академия Сферы Быта и Услуг
Кафедра Истории и Культуры
Московская область
Пушкинский район
Поселок Черкизово
ул. Главная, 99

* Эта статья написана при поддержке Research support scheme of the Open Society Support Foundation (RSS n° 157/1998).

1. См.: Т. В. Миронова, «Крестьянские письма как исторический источник по изучению общественного сознания крестьян 20-х гг.», в *Источниковедение XX столетия: Тезисы докладов и сообщений*, М., 1993, с. 138.

2. А. Я. Лившин, И. Б. Орлов, сост., *Письма во власть, 1917–1927. Заявления, жалобы, доносы, письма в государственные структуры и большевистским вождям*, М., РОССПЭН, 1998, 664 с.

3. В. П. Булдаков, «К изучению психологии и психопатологии революционной эпохи (Методологический аспект)», в *Революция и человек. Социально-психологический аспект*, М., 1996, сс. 15-16.

4. Н. Н. Козлова, *Горизонты повседневности советской эпохи: Голоса из хора*, М., 1996, с. 155.

5. М. Джилас, *Лицо тоталитаризма*, М., 1992, с. 229.

6. См.: *Россия 20-х годов уходящего столетия. Тезисы Первой Всероссийской заочной научной конференции*, Спб., 1995, сс. 30-31.

7. П. А. Сорокин, «Россия после НЭПа», *Вестник Российской Академии наук*, 3, 1992, сс. 80-81.

8. См.: И. Б. Новик, «Системность оптимального выбора», *Общественные науки и современность*, 1, 1995, с. 119.

9. К. Маркс, Ф. Энгельс, *Сочинения*, 2-е изд., т. 20, с. 153.

10. М. Горький, *Несвоевременные мысли. Заметки о революции и культуре. Рассказы*, М., 1991, сс. 63-64.

11. *Там же*, с. 36.

12. Государственный Архив Российской Федерации (ГАРФ), ф. 1235, оп. 53, д. 67, л. 201.
13. ГАРФ, ф. 1244, оп. 2, д. 59, л. 92.
14. *Там же.*
15. Российский Государственный Архив Экономики (РГАЭ), ф. 3429, оп. 2, д. 10, лл. 2-3.
16. ГАРФ, ф. 1235, оп. 61, д. 195, л. 78.
17. ГАРФ, ф. 1235, оп. 54, д. 18, лл. 1-2.
18. ГАРФ, ф. 4390, оп. 14, д. 36, л. 159.
19. ГАРФ, ф. 130, оп. 4, д. 239, л. 487.
20. ГАРФ, ф. 1235, оп. 140, д. 9, л. 45.
21. ГАРФ, ф. 1318, оп. 2, д. 16, л. 118.
22. ГАРФ, ф. 4085, оп. 22, д. 564, л. 4.
23. М. Горький, *Указ. соч.*, с. 29.
24. *Там же,* с. 64.
25. См.: Д. Х. Ибрагимова, *НЭП и перестройка. Массовое сознание сельского населения в условиях перехода к рынку*, М., 1997, сс. 191-192.
26. ГАРФ, ф. 9550, оп. 15, д. 134, л. 1.
27. *Там же.*
28. *Там же.*
29. ГАРФ, ф. 1235, оп. 53, д. 67, л. 228.
30. См.: *Сборник законов и распоряжений рабочего и крестьянского правительства с 1-го января 1918 года по 1-ое апреля 1918 года*, 2, сс. 99, 102-103.
31. ГАРФ, ф. 1235, оп. 140, д. 9, л. 10.
32. *Там же.*
33. ГАРФ, ф. 1074, оп. 1, д. 23, л. 58.
34. ГАРФ, ф. 4390, оп. 14, д. 56, л. 4.
35. *Там же*, д. 61, л. 6.
36. *Там же*, лл. 4-5.
37. ГАРФ, ф. 130, оп. 4, д. 247, л. 36.
38. ГАРФ, ф. 1235, оп. 98, д. 3, л. 486.
39. ГАРФ, ф. 1235, оп. 84, д. 9, л. 397.
40. ГАРФ, ф. 1235, оп. 96, д. 760, л. 18.
41. ГАРФ, ф. 1235, оп. 98, д. 2, л. 90.
42. ГАРФ, ф. 1235, оп. 56, д. 8, л. 226.
43. ГАРФ, ф. 130, оп. 4, д. 239, л. 352.
44. ГАРФ, ф. 1005, оп. 2, д. 87, лл. 380-381.
45. См.: К. Б. Литвак, «Политическая активность крестьянства в свете судебной статистики 1920-х годов», *История СССР*, 2, 1991, с. 140.
46. См.: О. Ю. Яхшиян, «Собственность в менталитете русских крестьян (Попытка реконструкции на основе материалов исследований русского обычного права, литературных описаний деревенской жизни второй половины XIX – первой четверти XX вв. и крестьянских писем 1920-х гг.)», в *Менталитет и аграрное развитие России (XIX-XX вв.). Материалы международной конференции*, М., 1996, сс. 92-93.
47. РГАЭ, ф. 3429, оп. 1, д. 857, лл. 94-97.

48. ГАРФ, ф. 1235, оп. 96, д. 760, л. 14.
49. ГАРФ, ф. 1235, оп. 56, д. 8, л. 229.
50. ГАРФ, ф. 4390, оп. 14, д. 9, л. 15.
51. ГАРФ, ф. 4390, оп. 14, д. 9, л. 5.
52. *Там же*, лл. 6-12.
53. С. Ф. Гребениченко, «Факторы и этапы эволюции государственных притязаний к аграрно-промысловой сфере в 1920-е гг.», *Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер»*, М., 10, 1994, сс. 63-65.
54. ГАРФ, ф. 1235, оп. 98, д. 3, л. 262.
55. В. П. Булдаков, *Указ. соч.*, сс. 15-16.
56. ГАРФ, ф. 1235, оп. 53, д. 67, л. 150.
57. Таковым до коллективизации являлся в первую очередь М. И. Калинин. «Ни о ком не отзываются хорошо, как о Вас. Изо всех честнейший я так слышал», — писал Калинину еще в 1920 году арестованный за «дезорганизацию отряда» председатель коммунистической ячейки 54 автомобильно-броневого отряда А. Алексеев. (См.: ГАРФ, ф. 1235, оп. 55, д. 10, л. 337).
58. ГАРФ, ф. 1235, оп. 56, д. 8, л. 171.
59. ГАРФ, ф. 130, оп. 4, д. 239, л. 139.
60. ГАРФ, ф. 130, оп. 4, д. 247, л. 36.
61. ГАРФ, ф. 1235, оп. 56, д. 8, л. 171.
62. ГАРФ, ф. 1235, оп. 61, д. 195, лл. 146-147.
63. ГАРФ, ф. 5446, оп. 55, д. 726, лл. 174-175.
64. См.: «Где моя революционная заслуга? (Письмо Владимира Я. М.И.Калинину)», *Крестьянская газета*, 15, 13 апреля 1926, с. 2.
65. См.: «О дутых заслугах и широких претензиях на награду (Ответ М. И. Калинина)», *Крестьянская газета*, 15, 13 апреля 1926, с. 2.
66. ГАРФ, ф. 1235, оп. 140, д. 1163, л.л 2-4.
67. ГАРФ, ф. 1235, оп. 98, д. 2, лл. 111-114.
68. *Там же*.